



И. ВОЛГИН

Человек, не имевший страстей

Почти ни с кем из современников Чаадаев не был на «ты». Исключение делалось разве для родного брата да, пожалуй, еще для И. Д. Якушкина и (в последние годы) Александра Тургенева. Со всеми прочими лицами — как близкими, так и далекими — Петр Яковлевич предпочитал сохранять те условные формы вежливости, которые в русском ли, во французском ли варианте гарантировали некоторую дистанцию между беседующими.

С Пушкиным, несмотря на права, даруемые долгим приятельством, они также оставались на «вы». («Ты был целителем моих душевных сил...» *Ты* — эта узаконенная вольность не должна вводить нас в заблуждение.) В их переписке нет и тени того изящно-небрежного, чуть нарочитого амикошонства, которое Пушкин иногда позволял себе по отношению к добрым друзьям и знакомцам. Каждое слово в их взаимной эпистолярной тщательно обдуманно, взвешено и не случайно поставлено. И дело не только в известной (хотя и сравнительно малой) разнице лет, а в том, что Чаадаев старше Пушкина «на Отечественную войну» (*ты* Отечественную войну). Просто один из корреспондентов (а именно Чаадаев) исподволь дает почувствовать своему легкомысленному другу сверхличную, «общемировую» важность их, по-видимому, случайных бесед. И благодарный друг немедленно готов признать эту *педагогическую* заслугу: «Твой жар воспламенял к высокому любовь...»

«Любовь к высокому» (иными словами, ко всему, что имеет касательство к основам человеческого духа) — суть явление, которое объемлется «невеселым именем» Чаадаев. Чтобы не угасить это хрупкое чувство (для многих из нас — сугубо маргинальное), его обладатель фактически отказался от биографии, устранив из нее время и пространство. Первое прекратило свое

значение в тот момент, когда за автором «Философических писем» затворились двери левашовского флигеля на Новой Басманной. Второе — сжалось до размеров этого условного обиталища, которое, несмотря на свою ирреальность, с годами все же подгнило и, по слову В. А. Жуковского, держалось не на столбах, а лишь духом единым. Регулярными появлениями в Английском клубе и обедами у Шевалье Чаадаев пытался заполнить свое метафизическое отсутствие в мире вещественном.

«Образ жизни Чаадаев ведет весьма скромный, страстей не имеет, но честолюбив выше меры», — доносил в Петербург московский жандармский начальник. Следует признать, что он заблуждался. Единственной и неодолимой страстью «басманного философа», а также высшим предметом его честолюбивых вожделений оставалось то, что со временем обретет характер изматывающей национальной привычки. Чаадаев как истинно русский человек сделал отчаянную попытку «мысль разрешить», причем не в частных, а в глобальных и «конечных» ее применениях. Это — первая и потому крайне болезненная судорога нашего рефлексирующего духа, дерзнувшего взглянуть на себя как бы со стороны. Но парадокс заключается в том, что *такой* взгляд мог исходить только изнутри — из самых глубин нашего исторического самосознания: «Опыт веков для нас не существует. Взглянув на наше положение, можно подумать, что общий закон человечества не для нас <... Если бы орды варваров, возмутивших мир, не прошли прежде, нежели наводнили Запад, страны, нами обитаемой, мы не доставили бы и одной главы для всемирной истории. Чтобы обратить на себя внимание, мы должны были распространиться от Берингова пролива до Одера»*.

Первое «Философическое письмо» было интуитивным актом национального мазохизма. Но поступок сей заключал в себе мощное созидательное начало. Предпринятая Чаадаевым интеллектуальная провокация блистательно доказала, что организм не только способен сопротивляться исторической смерти: он — при всех своих очевидных изъянах — приурочен также к здоровью и росту. (Пушкин, горячо возражавший Чаадаеву, был, кстати, одним из немногих, кто догадался об этом.)

Человека, столь вызывающим способом возвестившего о духовном здоровье, не могли не признать сумасшедшим. Чаада-

* Мы цитируем текст «Философического письма» не по позднейшим переводам, а по первой его публикации в журнале «Телескоп» (№ 15, 1836).

евская история создала прецедент. Отныне судить об идейной дееспособности граждан сделалось прерогативой власти.

Явилось ли свидетельством «исцеления» Чаадаева признание им тезиса, прямо обратного тому, который он некогда защищал в «Телескопе»? А именно — об исключительной роли России в деле пересоздания Европы, о высоких достоинствах православия, своей аскетической чистотой уравнивающего административную мощь католицизма? Нет, то, что мы привычно именуем «эволюцией», или «переменой убеждений», оказалось, по сути, совершенствованием и восполнением духа. В почти лишенном бытийственных примет флигеле на Басманной была угадана общая тайна Запада и Востока: гибельность их *раздельного* торжества. Личная драма Чаадаева вдруг обнаружила скрытые возможности «неусеченного» христианства — как целостного и познающего духа. Выяснилось, что мысль неравнозначна сама себе и что истина может возникнуть в поле напряжения между противоположными полюсами.

«Я предпочитаю, — сказал Чаадаев, — бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать».

В этом смысле нет мыслителя более мужественного и современного, чем Чаадаев. Но он, как всегда, держит дистанцию. Не потому ли, сколь бы нам этого ни хотелось, никогда не удается перейти с ним на «ты»?

